

Биография эпохи

Вера
ВАСИЛЬЕВА

ЛЮБИТЬ
И МЕЧТАТЬ



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
В19

Дизайн серии *Андрея Фереца*

В оформлении книги использованы фотографии из личного архива автора, фондов музея Московского академического театра сатиры, музея Государственного академического Малого театра, РИА Новости, Фонда Елены Образцовой, Киноконцерна «Мосфильм», среди них – фотоработы Светланы Виноградовой, Елены Мартынюк, Николая Новоселова, Светланы Плотицыной, Елены Сальтевской, Вадима Шульца

Издательство выражает признательность за предоставленные материалы сотрудникам Московского академического театра сатиры: директору Мамеду Агаеву, заведующей музеем Марине Калининой, редактору пресс-службы Никите Молчанову и благодарит за помощь в работе над книгой Дарью Милославскую и Светлану Плотицыну

Васильева, Вера Кузьминична

В19 Любить и мечтать / Вера Васильева. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 416 с.; ил. — (Биография эпохи)

ISBN 978-5-17-159925-6

В биографической книге «Любить и мечтать» актриса Театра сатиры Вера Васильева (1925–2023) искренне делится своими мыслями и чувствами, за многое благодарит судьбу. Еще студенткой театрального училища она снялась в фильме «Сказание о земле Сибирской» и мгновенно стала знаменитой, а затем сыграла в спектакле «Свадьба с приданым» и заблистала на театральных подмостках. Она работала с замечательными режиссерами и актерами, среди них Иван Пырьев, Эраст Гарин, Борис Равенских, Валентин Плутчек, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Георгий Менглет, Ольга Аросева, Нина Архипова, Александр Ширвиндт, Елена Образцова. Ее роли в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Ревизор», «Орнифель», «Таланты и поклонники», «Мольер», «Роковое влечение», «Пиковая дама» и многих других навсегда полюбили зрители. Она всегда поражала своей красотой, грацией, молодым задором и удивительным жизнелюбием.

Вера Васильева выходила на сцену ровно 75 лет. Все эти годы она радовала нас, своих зрителей, и возвращалась домой с неизменными букетами цветов. Прежде чем расстаться с нами навсегда, актриса успела дописать последнюю главу своей книги, каждое издание которой она всегда дополняла.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-159925-6

© В.К. Васильева(наследник), 2024
© РИА Новости
© Киноконцерн «Мосфильм» (кадры из фильмов)
© ООО «Издательство АСТ», 2024

От автора

Эта книга — мое письмо к неведомому другу, которому я могу доверить и свои мысли, и свою растерянность перед новой жизнью в XXI веке, и свои наблюдения над возрастом, а он уже крепко дает о себе знать. Друг — это читатель, испытывающий ко мне интерес, чувство симпатии и доверия, а иногда и любви. Мысленно обращаясь к такому человеку, я не буду стесняться ни своих страхов, ни своих мечтаний, хотя, казалось бы, в девяносто с лишним лет какие мечты? Смешно... Но это так.

Оценивая свои последние десятилетия, я не могу назвать их иначе как чудом. Роли, которые я сыграла и играю сейчас, цветы, что круглый год стоят в моей комнате, точно в оранжерее, любовь людей, которую я чувствую, радость и счастье, которые дарят мне крестница Дарья Милославская и ее дочка Светочка, моя названная внучка, — это все чудо.

Я и восприняла это как чудо, как награду за терпение, и мне захотелось поделиться с читателями моей историей жизни, чтобы, читая мою книгу, люди поверили: пока жив человек, судьба может послать ему всё... Пусть только душа будет жива, чтобы и радость, и горе принять достойно и прожить со всей полнотой чувств жизнь.

А жизнь прекрасна...

Все имеет свое начало

Забирайте с собой в путь свою
раннюю юность, забирайте с собой
свои человеческие движения,
не оставляйте их на дороге, не
подымете потом.

Н.В. Гоголь

Есть на свете прекрасная, мощная река Волга. О ней слагают стихи, поют песни, она олицетворяет собой русскую землю. Чуть выше города Твери есть пристань — Кокошка, и там, если пройти километров десять в сторону, стоит маленькая, любимая мною всю жизнь деревенька Сухой Ручей, где родился и жил мой отец и где я в детстве проводила каждое лето в кругу своих деревенских подружек. С этой деревней у меня связаны воспоминания об удивительных и прекрасных луговых запахах, о звуках и тишине, о песнях, о грибах и ягодах, о бане по-черному, о маленькой быстрой речке Тьмака, что впадает в Волгу, о запахе парного молока, о лягушачьем концерте на маленьком заросшем пруду за огородами, где стояли баньки, о простодушных, добрых людях — честных и бесхитростных, как дети. Это было так давно, что теперь мне делается страшно — вдруг все стало другим...

Каждое лето моя мама с нами, тремя ее дочерьми, нагрузившись тяжелой поклажей, отправлялась на все лето в деревню, а папа приезжал туда в свой отпуск. Мы были так бедны (хотя тогда я этого не знала), что у нас часто не хватало денег, чтобы ехать на пароходе, и мы шли пешком до нашей Кокошки. Вот и она!

Там на горе стоял трактир, он так и назывался тогда — не ресторан, а трактир, и богатые крестьяне, распродав на рынке свои продукты, сильно напивались в нем. И позже, когда я видела купцов в пьесах Островского, мне тотчас вспоминалась наша Кокошка и этот трактир. Пьяных я всегда очень боялась, эти здоровенные неменяемые мужики внушали мне ужас. Но рядом были моя мама и старшие сестры, и с ними все становилось нестрашным. На прилавке в трактире стоял большой самовар и лежали баранки (совсем как в фильме «Сказание о земле Сибирской»). Попив чайку с бараночками, мы ехали попутными телегами или шествовали пешком дальше. Мне очень нравилось, когда меня, как самую маленькую, брали на телегу. Запах сена, старых овчин, лошадиный шелковый зад с роскошным хвостом и какие-то повелительно-спокойные, понятные для лошади слова и междометия хозяина, державшего вожжи: «Но-но... дура... Пшла... Тпр-р-ру...» И она слушалась, мотала головой и гривой, косила своим сливовым глазом. Проезжали поле, где среди ржи россыпями синели васильки, потом небольшой лесочек, где нас встречал птичий концерт, и наконец вдали показывалась наша деревня, огромные деревянные ворота, на которых мы потом сидели, как воробышки на перекладинах.

По одну сторону деревни расположились добротные избы с самыми затейливыми резными наличниками, крашенными в белый, синий и желтый цвета. Улица широкая, с колодцами посредине. В окнах — цветущая герань и еще цветы, называемые «огоньками», очень веселенькие и яркие. Напротив каждой избы — через дорогу — ровно отгороженные частым заборчиком стояли сады с яблонями и вишнями, там же сарай, где хранилось сено и где мы сладко спали на овчинах и на подушках, набитых перьями.

Конечно, бывало, что заберешься в чей-нибудь сад и стащишь немножко яблочек, но это делалось только ради интереса, озорства, чтобы испытать что-то недозволенное, — ведь и яблук, и вишен у всех было полным-полно.

Внутри каждая изба делилась. В передней — парадной — части пол, покрытый самодельными половичками (я в детстве хорошо умела их плести), был чисто вымыт и душист, стол был застелен чистойшей, связанной самой хозяйкой скатертью, к красному углу сходились скамейки — гладкие и добротные, а в самом углу перед иконами в ризах мерцали красивые лампадки. И всегда особенно красивой была икона Николая Чудотворца (у нас в деревне и престольный праздник был связан с этой иконой). На окнах густо и весело аллели цветы, их белоснежно окаймляли самодельно связанные или вышитые занавески.

Обедали и жили в маленькой комнате посреди избы, где стояла печка, там всё готовили: щи, картошку, гречневую кашу, топили молоко, пекли ржаные пироги с черникой. Молоко в кринках было розовое, покрытое коричневой корочкой. Хранились они в подполе, где я совершала свои первые «преступления»: очень любя сметану и пенки, я, когда меня посылали за кринкой молока, всегда во все засовывала палец, облизывала его и, насладившись, приносила единственную нетронутую кринку. Не знаю, почему меня никогда за это не наказывали. Возможно потому, что там, где побывал мой палец, густые сливки быстро соединялись и скрывали мое «преступление». Во всяком случае, страсть моя к пенкам не была наказана, и, вероятно, поэтому она не изжита мною до сих пор.

Задняя часть дома представляла собой коровник. В те времена у некоторых было по две-три коровы да еще теленочек. Я забиралась туда и слушала коровье дыхание, втягивала в себя

запах парного молока, смотрела, как доят корову умелые руки, как грубовато-любовно разговаривает с ней хозяйка.

Дыхание коровы, запах навоза и парного молока! Эти размеренные звуки доения, при котором струйка молока равномерно позванивает, попадая на стенку ведра. А тут же еще квохчут куры на насесте. И маленький теленочек цедит сквозь зубы свое вкусное, разбавленное молоком пойло. Как от всего этого хорошо на сердце!

Сторожил деревенское стадо пастух, звали его Сокол. С детства он был дурачком, я же его застала уже седым и очень боялась, потому что у него текли слюни и он их не вытирал. Работал Сокол за ночлег и еду, которые ему попеременно давали жители деревни. Утром рано-рано раздавались звуки его колотушки — это пастух созывал свое стадо. А к полудню он пригонял коров на берег маленькой Тьмаки, и там, где в изгибе ее было мелко, коровы пили воду, мычали в ожидании своих хозяек.

Это место мы называли «полдневище», там в полдень доили коров. Шли мы к полдневищу сосновым лесом, и так как лето в детстве всегда кажется жарким, я помню только такое лето и тот удивительно сильный запах соснового бора.

Если болит душа, то стоит лишь прийти сюда подышать, посмотреть на подсохшие, розовые от солнечных лучей стволы, прислушаться к птицам и мошкаре, и уйдут все тревоги — уж очень хорошо в этом лесу, да еще если под ногами мелькает красная земляничка или голубеют кустики спелой черники. Господи, как же хорошо!

На речке, где мы купались, каждый изгибчик имел название: «окунячий», «ершачий» — рыбы в этой живописной речушке водилось много...

Собственного дома у нас в деревне не было — родители моего отца умерли, и мы снимали жилье у кого-нибудь из со-

седей: все жители были как бы родней — то дяди, то сваты, то крестные, то братья... Запомнились мне девичьи гулянья. Как только выглядывал месяц, начинала звучать гармошка, из каждого дома выбегала принаряженная девушка, и шли они широким рядом, распевая песни, а потом на пяточке у околицы долго-долго плясали, пели частушки, и видели мы, маленькие девчушки, как загорались глаза у парней и девушек и возникали первые романы, которые часто кончались свадьбой. Я дружила с семьей Ананьевых, там было четыре белобрых сестрички: Надя, Валя, Рима и Тамара. Особенно мы дружили с Вале́й: и возраст у нас был один, и характеры похожие. Мы до сих пор переписываемся, рассказывая друг другу о разных бытовых мелочах...

Я не застала родителей моего отца, но самого отца в деревне все очень любили и иногда даже говорили: «Кузьма у нас святой человек».

Ну вот и подошла я к тому моменту, когда надо рассказать об отце, к которому я относилась и отношусь с великой нежностью, гордостью и состраданием. Прошло уже больше пятидесяти лет, как его нет на свете, но те качества, которыми он обладал — доброта, редчайшая совесть, человеческая чистота, деликатность, душевность и прирожденный такт, — не забыты нами, его детьми, и всеми, кто был с ним знаком. Когда я читала Достоевского, в князе Мышкине видела своего отца, узнавала его черты в героях Толстого; я вижу его глаза, когда встречаю на полотнах русских художников лики святых праведников, вспоминаю его, когда слышу русские песни или птичий щебет в березовой роще, он стоит перед моими глазами, когда говорят о терпении и доброте русского народа...

Мне кажется, что он был очень красив — мой отец Кузьма Васильевич Васильев. Роста выше среднего, складной, но не спортивный и, наверное, не очень сильный, с русыми

мягкими волосами, румянцем во всю щеку и удивительно добрыми голубыми, как незабудки, глазами.

В последние годы, когда болезнь сильно мучила отца, голова его стала белой как лунь. Таким он и остался в моей памяти — складный, уютный, в бархатной толстовке, седой, с глазами, готовыми заплакать от любви и сострадания.

Если люди, знавшие моего отца, говорят, что я истинная его дочка, — для меня нет выше оценки. Я была с ним до последней минуты его жизни. Когда мне хотелось хоть на мгновение увидеть на его измученном лице улыбку или зажечь свет в его глазах, я говорила: «Папа, а ты помнишь нашу деревню, помнишь Троицын день, когда каждая изба украшалась ветками березы?» Он сначала долго всматривался, словно откуда-то издалека приходило к нему видение его родной деревни, глаза его теплели, слабая рука пожимала мою руку, и по щеке тихо скатывалась слеза. На секунду — через боль — это далекое видение зажигало в нем жизнь. Он очень любил мою маму, и, снова желая увидеть его улыбку, я просила: «Расскажи, какая была моя мама, когда вы поженились». Он светло улыбался и, сияя своими глазами, коротко говорил: «Шурка-то! У нее была вот такая вот талия!» — и показывал ладонь, с которую была мамина девичья талия.

Мать свою я тоже очень любила, понимала ее сложный характер, мятежную натуру, всю ее неудовлетворенность: она не получила от жизни того, что хотела. Доброта, чистота, бескорыстие, мягкость, даже некоторое безволие — эти качества, такие дорогие мне в отце, не приносили радости моей матери, особенно в молодые годы. Родилась она в семье рабочего-гравера в Твери, детей было много, но все получили образование. Жили скромно, но были одеты и обуты. Бабушка — Федосья Гавриловна (я ее застала и в детстве проводила с ней много времени) была очень благородна и по внешности,

и в поведении. Худенькая, с прекрасными волосами и милым лицом, изящная, всегда аккуратная, кроткая и хозяйственная, она жила только своими детьми и мужем. А муж ее, Андрей Егорович, был человек крутой, особенно когда выпьет, но работник, семьянин и хозяин отменный. Мама моя, Александра Андреевна, окончила в Твери коммерческое училище, изучала французский язык, и я даже помню, как она в детстве поражала меня иногда французскими словами и выросла в моих глазах необычайно. Вероятно, из-за нужды она вышла замуж за деревенского парня — Кузьму — и всю свою жизнь ненавидела тяжелое деревенское житье, жестких родителей мужа, которые хотели приспособить ее к тяжелой крестьянской работе, согнуть мамину гордую натуру, заставить жить по законам своей устоявшейся домогостроевской жизни. И то, что папа, любя, не мог заступиться за нее, не смел сказать в ее защиту ни одного слова, а только тайком от родителей утешал, на всю жизнь осталось в ней занозой и всегда вызывало негодование.

Этот мамин протест против той жизни не утих с годами, а, наоборот, стал как бы ее эмоциональным питанием. Когда она с ненавистью рассказывала о первых годах замужества, я всегда хотела закрыть уши, просила не продолжать, напоминала, что это мой отец и я его люблю. Мама замолкала, но я чувствовала, что ей надо было прокричать хоть шепотом, хоть тихо свою боль о несбывшихся мечтах и свою неудовлетворенность жизнью.

Я родилась в Москве, около Чистых прудов, в Гусятниковом переулке, близ Мясницкой улицы. Была младшей дочкой. Мои старшие сестры — Валентина и Антонина, а спустя четырнадцать лет после меня на радость всем появился братишка Васенька, которого я нянчила, любила и нежно люблю по сей день.

У нас была общая квартира в двухэтажном доме во дворе. В каждой комнате жили удивительные люди, похожие на героев пьес Юрия Олеши или первых рассказов Зощенко.

В одной большой комнате жила старушка Мария Ионовна, она была, наверное, как тогда говорили, «из бывших», на вид благородная, но какая-то замученная, с черными кругами под глазами. Ходила бесшумно, всегда в каких-то черных одеждах. Быстро что-то варила на керосинке или примусе, ни с кем ни о чем не говорила и сразу же исчезала в своей темной комнате. С ней жили две ее дочери — Аннета и Маруся — наверное, старые девы, такие же молчаливые, пугливые, одинокие. Они напоминали мне мышей — так мгновенно всегда исчезали. Никогда не общались с квартирными детьми, никогда ни о чем не спрашивали, ничем не угощали. Их комната с коричневыми обоями, с закрытыми плотными портьерами окнами, с тусклой лампочкой была похожа на какую-то темную щель.

В маленькой комнате около кухни жил их брат Митя, такой же тихий, необщительный, тоже с темными кругами под глазами. Теперь я жалею, что мало о них знаю, ведь, наверное, это были люди, потрясенные революцией, боявшиеся своих соседей, то есть нас, людей рабочих.

Наверное, если бы мне сейчас предстояло сыграть одинокую женщину, напуганную революцией, я бы прежде всего представила себе бледные лица своих соседок, нездоровую худобу, черные одежды, тихие шаркающие шаги, застенчивый страх, желание быть незаметными, то есть почти не быть для других.

Их отношения были тихие — ни ссор, ни разговоров. Еще в одной комнате жила тоже, как ни странно, старая дева. Звали ее Надежда, она работала и, по-моему, была общественно очень активна.

Удобств в квартире не было, отапливались комнаты печками, и я очень любила, когда мы на кухне пилили дрова, заготавливая их на зиму. Там у каждой хозяйки был столик, на нем примус, керосинка, одна ржавая раковина — место, где все умывались. В середине в полу был ход в подпол, где наша семья хранила заготовленную летом картошку и кадки нашинкованной капусты — это было нашей главной едой. В квартире водилось много мышей и клопов. Клопов морили керосином, а вот с мышами почти не боролись, и я, выходя в коридор, всегда громко топала, чтобы они успели разбежаться. Боялась я их до потери сознания, и этот ужас и отвращение остались навсегда.

Все это было в самом раннем детстве, то есть в 30-е годы.

А спустя десяток лет я уже снялась в картине «Сказание о земле Сибирской» и вернулась почти неузнаваемая для моих соседей и подружек по двору. И вот однажды, когда в воротах появился один мой поклонник — известный и талантливый человек, — наша соседка, старшая из сестер, Аннета, вбежала в мою комнату, потрясенная его элегантным видом, костюмом, светлой шляпой и тростью, и, задыхаясь, почти шепотом выкрикнула: «Верочка, к вам какой-то господин идет». А был тогда уже 1947-й год. Значит, сильна была их память, а может, это осталось в крови — ведь тогда слово «господин» не произносили.

Многие из деревни переехали в город, кто в Тверь, кто в Москву, кто еще куда-нибудь! Все московские жили очень скромно, в подвалах, работали дворниками или истопниками, но праздники справляли исправно, и всегда на столе были деревенские соленые грибы, черника в ржаных пирогах, вкуснейшая капуста из своих кадок... А в магазине иногда покупали чуть-чуть сыру. За столом пели песни, особенно хорошо пела тетя Вера Калинина, у нее научилась и я и ра-

довала папу песней «При лужке, лужке...». Папа работал на заводе шофером. Мама — кем-то на том же заводе, а вечером училась на инженера-плановика. В свободные минуты она всегда что-то шила, перешивала от старшей дочки для средней, от средней — для младшей. Ей всегда хотелось быть красиво одетой, но однажды с одеждой у нее произошел казус. Она сшила себе пальто и щедро отделала его мехом. Это была необработанная шкура лося, которая очень лезла. На пальто красовался шикарный огромный воротник, и богатая опушка шла понизу. Но когда, впервые надев его, мама вошла в трамвай, от нее начали сторониться и даже роптать, так как лосиный мех сыпался не только на мамино черное сукно, но и на соседние пальто. Назревал скандал, и маме пришлось сойти. И все-таки она с этим пальто не рассталась, может быть, не было другого, а может быть, гордость ее непомерная не позволяла признать свое поражение.

Мама не была исключительной хозяйкой: варились только щи и картошка, которую потом ели с капустой.

Несмотря на то, что она имела трех дочерей, душой мама была на заводе, учебе, в какой-то кипучей, не домашней жизни. А папа, наоборот, после работы бежал домой, готовил обед, ждал ее с учебы и читал много книг. Книги производили на него сильнейшее впечатление. Иногда он оставлял книгу, снимал очки, вытирал слезы и говорил: «Как же хорошо написано!» Вера в написанное у него была детская. Помню, во время войны он всегда читал Эренбурга, восторгался и все хотел письменно его поблагодарить. Вообще чувство благодарности было ему присуще: он был благодарен Богу за свое маленькое семейное счастье, правительству за то, что страна становится могучей, и тем людям, которые говорили в газете о новой жизни, о справедливости, о светлом будущем. Он верил всему хорошему, хотя жили мы